

18+

Виктория Мевченко

Фиолетовые жирафы



Виктория Шевченко

Фиолетовые жирафы

«Издательские решения»

Шевченко В.

Фиолетовые жирафы / В. Шевченко — «Издательские решения»,

«Они выросли вместе, не зная, что связывает их друг с другом. Почему их матери умерли в один месяц? И только потеряв всё, открылось то, что связывало их на самом деле. «Фиолетовые жирафы» — это не просто художественная проза. Это исследование природы психологических защит, созависимости и механизмов жертвы. Книга о том, как корни наших травм прорастают во взрослую жизнь, определяя выборы, привязанности и судьбу. И о том, что даже в самой глубокой тьме есть место для света и надежды.

© Шевченко В.

© Издательские решения

Содержание

Часть первая. Детство: широки врата	6
Пролог	6
Глава 1. Морфей	8
Глава 2. Пруди	12
Глава 4. Самсон	19
Глава 5	26
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Фиолетовые жирафы

Виктория Шевченко

Родной, любимой моей мамочке, посвящается...

© Виктория Шевченко, 2026

ISBN 978-5-0070-9646-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора.

Эта книга родилась не из желания написать роман. Она просто появилась — из необходимости пережить важные чувства, разобраться в них и отпустить. В ней нет выверенного литературного языка, нет стремления угодить правилам. Есть живая речь, неожиданные обороты и мысли, которые приходят не по расписанию.

Мы редко думаем литературно. Мы думаем обрывками, ощущениями, возвращаемся к одним и тем же вопросам, спотыкаемся, повторяемся. Именно такой я и хотела сохранить эту книгу — без прикрас, без попытки казаться.

Если где-то текст покажется вам непривычным или неровным, знайте: так и было задумано. Я не писатель. Я автор. Поэтому здесь могут встречаться обороты, которые не впишешь в справочник. Мысли, которые не всегда удобны, и чувства, которые не всегда красивы. Это не ошибка. Это просто жизнь, такая она есть.

И всё же — за внешним слоем этой истории лежит нечто большее. Её можно читать как увлекательный роман, а можно — как исследование того, как работают внутренние защиты, как формируются зависимости и к чему они приводят. Почти каждое имя в книге несёт смысл. Почти каждая сцена — символ. Я не настаиваю на одном прочтении. Я просто приглашаю вас заглянуть глубже, если захочется.

Это не свод правил. Это приглашение заглянуть в мир, где чувства важнее формы. И если хотя бы одна фраза отзовется в вас — значит, мы встретились не зря.

Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что читаете.

Часть первая. Детство: широки врата

Пролог

Утро на лугу было мягким, солнечным, но не жарким. Трава ещё хранила росу, и каждая капелька дарила земле прохладу. В воздухе пахло разнотравьем и чем-то ещё далёким, почти забытым — как сон, который не помнишь, но всё ещё чувствуешь.

Небо было безоблачным. Воздух шевелился, как при жаре, однако стояла прохлада. Это место называли Илонов Луг — видимо, в память о великой фее Илоне. Говорили, что фея Илона когда-то танцевала здесь на заре, и каждый её шаг оставлял на траве серебристый след, который потом превращался в росу. Теперь же луг жил своей тихой, почти волшебной жизнью, и даже ветер здесь казался мягче, чем в других местах. Какой-то аромат нереальности присутствовал здесь.

Дети, как наиболее чувствующие существа, облюбовали это место давно и часто собирались там — и для игр, и для сокровенных разговоров. Неправда, что у детей не бывает задушевных разговоров. Возможно, самые душевные, как раз у них.

На лугу, чуть поодаль от тропинки, сидела девочка. Ей было около пяти-шести лет. Белокурые волосы падали на плечи. Ноги босые. Платье светлое — как будто она просто вышла во двор и села там, где захотелось.

Девочка закрыла глаза — и казалось, то ли прислушивается к чему-то, то ли вспоминает. На самом деле она играла в игру, которой научила её мама. Они часто играли вместе: мама умела превращать в игру любое событие, любое действие. Суть была проста: закрыв глаза, нужно было услышать как можно больше разных звуков и понять, откуда они исходят.

Таис зажмурилась и сосредоточилась. Звуков было много. Где-то стрекотало — наверное, кузнечики. Где-то слышалась вода — это ручей. Она внутренне улыбнулась. Ей нравилось представлять, как каждый звук имеет свой цвет: кузнечики стрекотали зелёным, ручей журчал голубым, а птичий гомон переливался всеми оттенками утра — от бледно-розового до золотого. Мама говорила, что если закрыть глаза и слушать долго-долго, можно услышать, как распускаются цветы. Таис пока не слышала, но верила, что когда-нибудь обязательно услышит. А ещё птицы. С ними была самая большая трудность: кукушку она узнавала легко, а вот голоса остальных птиц различать не умела. Это был просто гомон, просто щебет — то громче, то тише. Запахи... пахло чем-то сладковатым. Те жёлтенькие цветочки так пахнут. Помнила она свежесть, конечно, утренний воздух — он ещё сыроват...

Таис посидела ещё, сколько-то зажмурившись. Открыла глаза, посмотрела в небо, по сторонам. На коленях у неё лежала небольшая собачка, рыжая, лохматая, с прикрытыми глазами. Она гладила её медленно, бездумно. В такие моменты Таис чувствовала себя частью этого луга, этого утра, этого бесконечного покоя. Ей не нужно было ничего говорить, ничего делать — просто быть. И этого было достаточно. Она улыбалась. Просто так, потому что ей было хорошо.

Издалека приближалась фигура мальчика. Это был Морфей. Мальчик лет десяти, не больше. Золотые кудри обрамляли круглое, почти херувимское лицо. Он был пухлым, живым, с вечно пританцовывающей походкой. Он шагал легко, виделось, не касаясь земли, словно воздух сам нёс его вперёд. В руке он держал длинную палочку, которой помахивал, словно дирижируя невидимым оркестром. Палочка описывала в воздухе замысловатые узоры, и чудилось, что он ведёт невидимый оркестр, который слышит только он один.

Морфей шевелил губами, как будто разговаривал с кем-то. Иногда казалось, что звук вот-вот вылетит из его рта. Но пока не вылетал. Он то хмурился, то улыбался.

Внезапно он заметил вдалеке девочку и значительно ускорил шаг.

— Таис, привет! — голос у него был звонкий, чуть картавый, но весёлый. Таис подняла голову, улыбнулась краем губ, но руку с собачки не убрала.

— Привет, — сказала она спокойно.

Морфей присел на корточки, заглянул под её ладонь:

— Ух ты! Ой, какая она хорошенькая! А как её зовут?

Таис посмотрела на собачку, потом на него, потом снова на неё.

— Амигдала.

— Амигдала? — Морфей удивился, но без насмешки, скорее радостно. — Необычное имя... Откуда она?

Девочка пожала плечами — легко, безмятежно:

— Она всегда была здесь. С самого начала.

— С начала чего? — не унимался Морфей.

— С начала всего, — ответила Таис твёрдо, но беззлобно.

Морфей помолчал секунду. А потом в глазах у него загорелся блеск — тот самый, который уже знали все, кто с ним сталкивался.

— Понятно, — сказал он, вставая, и добавил, понизив голос до заговорщического шёпота, но явно обращаясь уже к себе: — Я знаю точно. Она приплыла сюда давным-давно с пиратами на корабле. Пираты уплыли и её оставили. Нет, пираты не уплыли. Пираты закапывали здесь клад. Клад здесь. Ну, не знаю, а вот...

И он уже бормотал, уже жестикулировал, уже жил в своей истории, подхлестывая воздух палочкой. Его совершенно не смущало, что рядом не было никакого моря. Он уходил всё дальше по тропинке, размахивая руками и выстраивая хитросплетения сюжета.

Таис осталась сидеть на траве. Склонив голову, она продолжала гладить Амигдалу и улыбалась — уже не просто так, а своим каким-то ей одной известным мыслям. Собачка покрутилась, подставила пузо, девочка почесала.

На лугу по-прежнему было тихо. Тепло. И никуда не нужно было спешить

Глава 1. Морфей

*«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство
Небесное».*
(Мф. 18:3)

Морфей был чудесным, обаятельным мальчиком. Ему недавно исполнилось десять лет. У него была яркая, располагающая к себе внешность: невысокий, плотный, иногда даже пухлый. Золотистые волосы и блеск в глазах — огонь ребёнка, увлечённого жизнью. Он говорил энергично и всегда активно жестикулировал. Руки часто жили своей отдельной жизнью, но это не казалось странным, как и его лёгкая картавость, особенно в минуты волнения. Напротив, он был таким, каким и должен быть: живым, весёлым и невероятно убедительным. С лёгкостью заговаривал с кем угодно, болтал о разном, придумывал истории. И был в них так красочно красноречив, что даже взрослые, понимая: это сказки, заслушивались.

Любимым занятием Морфея было фантазировать. Каждый предмет в его жизни обрстал невероятной историей. Несмотря на всю абсурдность фантазий, ему никогда не было скучно. Он и не бывал один — он жил в своих мирах, архитектором которых был. Там у него были друзья, поклонники, соперники и воздыхатели. Это был яркий, живой мир, полный небылиц — полное отражение его самого.

Он жил с мамой, и её звали Нино. Она была шатенкой, не то чтобы красивой, но приятной, с мягкими чертами лица и усталыми добрыми глазами. В её взгляде всегда было что-то от утреннего света: мягкое, согревающее, но не ослепляющее. Она редко повышала голос, даже когда уставала. И умела слушать так, что собеседник чувствовал себя самым важным человеком на свете. Морфей обожал эти моменты: когда мама откладывала свои дела, садилась рядом и просто смотрела на него, слушая его бесконечные истории. Она была уже немолода, но по своему привлекательна.

Нино работала воспитателем в детском саду. Ей несколько раз предлагали стать заведующей — и зарплата выше, и статус, — но она отказывалась. Не хотела брать на себя такую ответственность и тяжёлую ношу. И главное — боялась украсть время у общения с сыном. Она любила Морфея всей душой и не могла нарадоваться на своего мальчика.

Он был добрым, ласковым и, по мнению Нино, слишком чувствительным. Она вспомнила, как однажды водила его в театр. Она обожала оперетты и часто брала сына с собой. Ему это нравилось. Тогда он был совсем мал, и Нино выбрала «Муху-цокотуху». Всё шло хорошо: они сидели во втором ряду, мальчик радостно смотрел на сцену и искренне переживал за происходящее. Но в тот миг, когда появился паук, ему стало по-настоящему страшно. Он сполз с сиденья и под креслами уполз из зала — так тихо и незаметно, что Нино не сразухватила.

Она нашла его в холле на кушетке: он дрожал и плакал. Женщина еле-еле успокоила его, объяснив, что паук ненастоящий — всего лишь актёр в костюме. Однако мальчик ещё долго оставался тихим и незаметным, что было ему совершенно не свойственно.

Прошло около полугода. Нино тщательно изучила репертуар, пытаясь найти спектакль без пугающих отрицательных героев. Выбор пал на «Золушку» — добрая сказка с понятными персонажами, без страшилищ. И что бы вы думали?

Едва на сцене появился отец Золушки, Морфей дико завизжал, вскочил с места и закричал на весь зал. Крик был пронзительным — на мгновение весь зал замер. Люди обернулись, кто-то ахнул. А маленький Морфей, дрожа всем телом, показывал пальцем на сцену и повторял: «Это паук! Это он!» Нино потом долго не могла забыть этот момент: как в глазах сына смешались ужас и странная уверенность, что он видит правду, которую никто не замечает.

Нино спешно вывела ребёнка. Реакция казалась абсурдной, пока она не заметила: паука и отца Золушки играл один и тот же артист.

Морфей был внимательным, предупредительным мальчиком и почти не доставлял маме хлопот. К десяти годам он ни разу ничем не болел. Даже падения, ссадины и занозы обходили его стороной. Про таких говорят: заговорённый.

Сама Нино была ответственной и обязательной. Порой переживала перед утренниками, но они, как ни странно, проходили на ура. Была в ней ещё одна черта, вызывавшая восхищение: порядочность до щепетильности. Слово держала всегда, врать не умела и не любила. Из-за этого она бывала прямолинейна. Но в ней не было ни капли внутренней гнили, ни второго дна.

С мужем она развелась, когда Морфею исполнилось три. История осталась в её сердце обидой и презрением.

Нино хлопотала на кухне. Окно, выходящее на дорожку, было распахнуто. В тёплый погожий день свежий ветер врывается в комнату, обдувая стоящую у плиты женщину. Внезапно она перестала помешивать булькающее в кастрюле, вытерла руки о фартук и быстро направилась в комнату. Подошла к отрывному календарю.

— Ну точно. Завтра 14 мая — годовщина смерти дядки бывшего мужа, брата свёкра.

Свёкра она не знала и, слава богу, — гад он был. Он умер до их свадьбы. А вот его младший брат, Арканус... Какой человек — весёлый, общительный, всегда с шутками. Его обожали дети всей округи. Соберёт их в кружок — и рассказывает сказки. Сам придумывал про дальние страны, героев, прекрасных принцесс.

А за спиной — война. Старший брат ушёл на фронт. А он, десятилетний мальчик, остался с матерью и двумя сёстрами. Оккупация, жизнь, полная страха. Как он бегал к партизанам, носил им еду. Сколько раз его ловили. Как вдохновенно врал, объясняя, куда пошёл, а сам цепенел от страха: «Заблудился, с грибами». Как развлекал пьяных, когда они ввалились в их дом, а в подвале прятались раненые солдаты.

Холодок пробежал по её спине.

— Да, давно пора сменить фото на могилке, а то совсем поистёрлось.

Она взяла старый альбом, полистала, нашла снимок молодого Аркануса — и вздрогнула. С фотографии на неё смотрели глаза её Морфеюшки. Надо же, как похожи — одно лицо, и повадки те же.

Воспоминания прервал ворвавшийся в дом, как ураган, Морфей. Он влетел в прихожую, даже не закрыв за собой дверь. Она так и осталась распахнутой, и лёгкий ветерок ворвался вслед за ним. Морфей тяжело дышал, щёки горели, глаза блестели. Он не просто бежал — он летел, чтобы успеть рассказать свою историю, пока она не остыла в голове.

— Мама, мама! — закричал он прямо с порога. — А я сейчас был на лугу, там Таис с собачкой!

Морфей замахал руками, изображая то ли луг, то ли собачку.

— Эта собачка — Амигдала. Ей миллионы миллионов лет! Она родилась с древними людьми и охраняла их. Она лаяла всегда, когда приходили звери. У неё знаешь, какой слух? О, она слышит то, что за морем! А потом древние исчезли, и она появилась у нас.

Надо сказать, пока он бежал с луга до дому, Амигдала пережила немало биографий, но все они ему почему-то не нравились. И вот он, наконец, остался доволен.

— Морфеюшка, — мама погладила раскрасневшегося сына по голове, глаза её улыбались. — Я видела эту собачку. Она очень маленькая, только тявкает часто. — Она рассмеялась. — Но собачки не живут так долго. К тому же, какие миллионы лет? Она совсем ещё щенок.

— Ну и что?! — вспыхнул Морфей. — Она щенок, который живёт миллионы лет. Ну и ладно! — крикнул он и недоумённо пожал плечами.

Почему мама решила, что так не бывает? Что-то неуловимое он вспомнил. Что? Он, наверное, не мог понять. Он что-то увидел на мамином лице. Когда-то он уже видел это выражение. Он нахмурился, напрягся. И вспомнил.

Когда-то давным-давно, когда он ещё не ходил в школу, у него был день рождения. Ему подарили много-много подарков. Там была книжка-раскраска — он обожал раскрашивать и рисовать. Вообще он любил всё, что связано с сочинением, с изображением на бумаге. Рисовал легко, вдохновенно, иногда совершенно непонятно что. Обожал конструктор, мог собирать часами, несмотря на непоседливость. Рисование и конструирование были теми занятиями, в которых он увлекался и будто исчезал из реальности.

Так вот, в тот день рождения ему подарили машинки, фломастеры и другие радости — чего там только не было. Мама, улыбаясь, спросила:

— Ну что, как тебе подарки? Что особенно нравится?

Морфей с восхищением показал ей тубу с фломастерами. Там было много-много цветов — штук тридцать, наверное. Раньше он не видел столько.

— Да, — сказала мама напряжённо. — Ну, ясно.

И вот тогда — у мамы было такое выражение лица. Что-то неправильное, непонятное. Это было как тень, которая на миг скользнула по солнечному лугу: неясная, почти неощутимая, но оставившая внутри лёгкий холодок. Морфей не знал тогда, что это чувство будет возвращаться к нему снова и снова, каждый раз, когда реальность напоминала о себе слишком громко. Он тогда понял, что сказал что-то не то. Быстро, как он умел это делать, переключился на другое:

— Ну, впрочем, нет. Не фломастеры. Вот, вот эта раскраска — лучше всего.

И уже потом, много позже, он узнал, что те фломастеры прислал ему отец.

Но неприятное ощущение длилось недолго — буквально секунды. И Морфей умчался из дома так же стремительно, как появился, улыбаясь во весь рот.

— Вот фантазёр, — подумала Нино, провожая его взглядом. — Детское, наверное, пройдёт.

— Пройдёт? — повторила она вслух, уже задумчиво.

Тень едва заметная появилась на её лице. Она тряхнула головой, как бы сбрасывая неприятную мысль, и устремилась на кухню, где бурлящая кастрюля медленно превращала суп в жаркое.

Морфей побежал по просёлочной улице, заглядывая в окна домов. Почти в каждом жили его сверстники или дети помладше. Они гурьбой бегали по улицам и в палисадниках. Время учёбы заканчивалось, они уже чувствовали свободу. Морфей и сам ходил в школу через пень-колоду — не особо любил её, учился посредственно. Стоило учителю заговорить монотонно, как он тут же улетал в свои дальние страны.

Русский язык, несмотря на любовь к литературе и чтению, давался ему тяжело. Он постоянно делал ошибки. Буквы словно играли с ним в прятки: он знал, где они должны стоять, но пальцы выводили их на бумаге в другом порядке. Мама проверяла тетради, вздыхала, но никогда не ругала. Она чувствовала, что это не лень, а что-то иное, что он сам не мог объяснить. Позже он узнает, что у этого есть название. Но в детстве это было его маленькой тайной — битвой, которую он вёл с самим собой каждый день. Он знал, как правильно написать, но на бумаге выходило иначе. Мама билась с ним, пыталась заниматься, учила правила. Правила, он запоминал отлично, но грамотно писать так и не научился. Странные ошибки: пропущенные слоги, переставленные буквы...

Но его почему-то очень любили учителя русского языка. Наверное, за прекрасное знание литературы, за образное мышление. Они всегда помогали ему на контрольных и зачётах, вытягивая на удовлетворительные оценки. Уже много позже он узнает, что у него была дисграфия.

Морфей бежал по улице, заглядывая во дворы, надеясь увидеть кого-то из друзей. Наконец ему повезло. В конце улицы он увидел копающуюся в огороде Пруди.

Глава 2. Пруди

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле».
(Исх. 20:12)

Морфей подбежал к калитке и на крыльце увидел худощавую невысокую женщину — маму Пруди. Она стояла, как всегда, расправив плечи. Прямая спина напоминала натянутую струну. Лицо не злое, скорее строгое. Если описывать её одним словом, то это слово — собранность. Одета аккуратно, элегантно, но без вызова, вся чистенькая. Она стояла на крыльце и искала глазами Пруди.

— Здравствуйте, тётя Нин! — заорал Морфей прямо из-за калитки.

Тётя Нин повернулась на его голос:

— А, Морфей, заходи. Мы как раз с Прудей собирались обедать.

— Пруди! — не крикнула, скорее, приказала она. — Обедать.

И, чуть теплее, добавила:

— Морфей пришёл.

Она первая прошла в дом, не дожидаясь, пока Пруди откликнется. Морфей забежал следом. Там, как всегда, было чисто и аккуратно. В воздухе витал лёгкий запах старого дерева и сухих трав, смешанный с ароматом обеда с кухни. На подоконнике стояли цветы в простых глиняных горшках. Нин любила их, но неставляла напоказ. Они жили своей тихой жизнью, как и всё в этом доме. Это была не стерильная чистота — это была чистота порядка. Морфей даже обтёр у входа босые ноги, чем вызвал одобрительную улыбку Нин.

Пруди, появилась последней. Она скинула огородные шлёпанцы и уже прошла в дом, но под пристальным взглядом матери вернулась и поставила их аккуратно.

Все сели за обеденный стол. Нин посмотрела на дочь: как выросла девочка! Ещё недавно играла в игрушки, а уже семь лет. Только бы успеть вырастить.

Пруди, была поздним, долгожданным ребёнком, любимым. Но Нин боялась: а вдруг не успеет поставить дочь на ноги. С отцом Пруди они давно развелись, и Нин вычеркнула его из жизни. Пруди не заикалась о нём, хотя поглядывала на взрослых мужчин, представляя их своими братьями. Братьями-защитниками. Но мамин девиз был один: ты должна уметь всё делать сама. И не абы как, а достойно. Она воспитывала девочку, не отступая от этого принципа.

За столом все разговорились. Морфей рассказывал свои небылицы. Нин снисходительно улыбалась, а Пруди с восторгом слушала его, украдкой поглядывая на мать: нет ли там недовольства?

Нин была в прекрасном расположении духа. Каждый день Пруди давала ей повод для гордости. Временами Нин ловила себя на мысли, что восхищается дочерью. И тут же одёргивала себя: возгордится — перестанет стараться. Не успеет созреть — останется одна. Нет, расслабляться нельзя. Будущее дочери — самое главное, она её смысл и надежда.

Морфей уже давно поел, и его руки, освобождённые от ложки и хлеба, зажили своей привычной жизнью, рассказывая очередные байки. Пруди — стройная, как мать, русая девочка с серыми глазами и, в контрасте с фигурой, пухлыми щёчками — встала из-за стола.

Дети вышли в сад. Посуду убирала Нин сама — она не нагружала девочку лишним. «Успеет ещё», — думала Нин. Главное — научить отношению к делу, а не просто количеству.

Пруди и Морфей тем временем зашагали на любимое место их детских сборищ — Илонов луг.

Морфей был загадкой для Пруди. Интересным и в то же время таящим какую-то угрозу, — какую именно, она и сама не сказала бы. В его рассказах было столько блеска, радости и ещё чего-то, чему она не могла найти названия.

Как хорошо, что каникулы и можно расслабиться. Конечно, мама заставит читать все книги и пересказывать их, но это не так страшно.

Пруди одевали аккуратно, но не по-современному. У матери были другие вкусы и возможности. Таис же в любом ситцевом платице с такой радостью и беззаботностью носилась по миру, что мир ею восхищался. Пруди так не могла, но хотела. Хотела восхищения, признания — сама не зная зачем. Главное — чтобы мама гордилась. Мама так для неё старается, так любит и радуется её успехам.

Пруди погрузилась в воспоминания. Однажды, когда она была ещё маленькой, они с мамой ездили на поезде. Пруди хорошо запомнила ту поездку. Стук колёс отбивал ритм — то успокаивающий, то тревожный. За окном проплывали поля, деревни, станции. Казалось, она плывёт по бесконечной реке времени, где каждая остановка — шанс стать кем-то важным. Мама в тот день была расслабленной, не приставала с задачами, не журила, была особенно доброй.

В том поезде Пруди подружилась с проводницей. Проводнице просто нравилась девочка — общительная, весёлая, умная. Пруди, почувствовав это восхищение, рассказывала всё без умолку. При этом она была воспитанной и вежливой — как учила мама, — всегда спрашивала, не надоела ли.

Проводница пришла в восторг и сказала об этом не только Пруди, но и её маме:

— Ах, какая замечательная девочка! Воспитанная, сколько всего знает! Я сорок лет живу, а многих вещей, о которых рассказывает ребёнок, даже не слышала.

Пруди помнит это ощущение: будто она взлетела на крыльях. Внутри было легко, свободно. И мама — она помнит её сощуренные, довольные глаза, улыбку, и то, как мама погладила её по голове.

Но были в воспоминаниях Пруди и неприятные моменты. Она старалась забыть их, но они всплывали сами собой, особенно когда она вспоминала что-то хорошее. Ей казалось, что это были истории, где она сильно подвела маму.

Какое-то время они жили с мамой и бабушкой. Бабушка была пожилой женщиной — очень доброй, светлой, но тоже системной и порядочной. Многого она не понимала — например, увлечения дочери театром считала пустым. И к музыке была равнодушна. Зато любила читать и одобряла, когда внучка делала то же.

У бабушкиной семьи была странная история. Многие в их роду были слепы. Например, её старшая сестра, Тюнечка. Ослепла в двенадцать лет — поранилась в игре с братом. Её возили к врачам, но помочь не смогли. Она выросла, вышла замуж за слепого человека. Он ослеп в три года от оспы.

Это были удивительные люди. Баба Тюня умела заговаривать детей. Голос её был тихим, но уверенным — будто она знала тайны, не написанные в книгах. Когда она шептала свои слова, воздух вокруг становился мягче, дети затихали и доверяли ей больше, чем зрячим врачам. Она справлялась с грыжами у малышей, как никто другой. Позже бабушка рассказала Нин, как это делала. Пруди однажды прибежала к ней:

— Бабушка, научи меня заговаривать!

Бабушка улыбнулась:

— Деточка, я просто делаю малышам массаж губами.

— А зачем ты шепчешь? — удивилась Пруди.

— Так людям понятнее, — ответила бабушка.

Когда бабушка Тюня полностью ослепла, её отправили в пансион для слепых. Там она была пять дней в неделю. Там царил строгий порядок, но детей учили всему: они сами себя

обслуживали, готовили еду. Еду делали такой, чтобы слепой не обжёгся. Это были мудрые, талантливые люди. Они давали детям образование, и те выходили в мир приспособленными. Баба Тюня вышла замуж за слепого музыканта, который играл на любых инструментах.

Дядя Вася на фронт не пошёл — куда ему, слепому? Но он был единственным мужчиной в деревне и выполнял всю тяжёлую работу.

Пруди с детства знала слепых, понимала их и относилась к ним с теплотой.

И надо же так случиться: её родная бабушка тоже ослепла. Зрение уходило постепенно, и в конце она различала лишь смутные силуэты.

Однажды Нин, Пруди и бабушка поехали в гости к родственникам. Дорога была недолгой — шесть часов. Пруди помнит только момент на вокзале. Кругом толпа, скоро объявят поезд. Вдруг по радио объявляют, что путь прибытия меняется. Нин сказала Пруди:

— Стой здесь с бабушкой, никуда не уходи. Чтобы она не потерялась.

— Хорошо, — покорно ответила Пруди.

Но когда мама скрылась, Пруди просто бросила бабушку и пошла следом. А когда мама спросила, где бабушка, Пруди сказала:

— Я... я её потеряла.

Мама схватила дочь за руку и побежала искать бабушку.

Трудно сказать, что чувствовала Пруди тогда. Может, интерес. Ровно до того момента, пока в толпе она не увидела бабушку. И её глаза — слепые, шарившие поверх голов. Так озирается загнанный зверёк.

Взгляд скользил по лицам, но ни на чём не мог остановиться.

Эти глаза стали для Пруди дверью в мир, где люди живут без света, но видят больше зрячих. В них был ужас существа, которое отчаянно хочет видеть, но не может. И беспомощность, проникающая в самое нутро. Впервые она столкнулась с этим чувством: когда ты страстно желаешь помочь, но не можешь. Хочешь отдать человеку свой свет, но не в силах. Это бессилие останавливает что-то важное внутри и ломает его навсегда.

Говорят, поездка прошла замечательно. Но Пруди помнила только эти глаза — глаза бабушки, оставшиеся с ней навсегда.

Морфей своей дикой радостью снова погрузил Пруди в неприятные ощущения. Она знала их, часто чувствовала, но не понимала, как они называются. Взрослые бы сказали: это чувство вины.

Была ещё одна история. Мама развелась с папой, но он приходил в гости. Пруди пошла с ним гулять и потом долго не видела маму. Она плохо помнила, что было: лишь обрывки. Как сидела на верхней полке, боялась поездного туалета и терпела. Какой-то мужчина, ребяташки, женщина. А потом пришла женщина в милицейской форме и повела её за руку. Вдалеке она увидела маму. Обрадовалась, но шла спокойно. Мама нагнулась и поцеловала её. Пруди тоже поцеловала маму, радуясь, что та рядом. А потом долго винила себя: надо было бросить совок и ведёрко, раскинуть руки и бежать. Но она не сделала этого. Ей было стыдно, хотя она ещё не знала этого слова.

Морфей застал маму, задумчиво бредущей из магазина. «Хорошо бы, если у Морфея был отец», — подумала она. — «Первый её муж был достойный человек, если бы не водка... А вот Дериал... да чёрт с ним».

Морфей отнял у неё сумки и запрыгал рядом, жестикулируя свободной рукой.

— Мама, я видел фиолетовых жирафов! Они летели по небу, в оранжевых пятнах!

«Но сколько можно», — подумала Нино, и сказала строго:

— Морфей, не бывает фиолетовых жирафов. Тем более летающих. Ты уже большой. Надо жить в реальности и помогать людям, а не сочинять ерунду.

Она пошла вперёд, а Морфей, затихнув, волочил тяжёлую сумку. Странно, думал он. Почему не бывает, если я их вижу и чувствую их дыхание? Мама сказала, что сочинять глупо и нехорошо. Нельзя? А как можно? Как я могу помогать? Рассказывать — и кому помогать?

Он молчал всю дорогу, уйдя в свои мысли. Мама не удивилась: он часто замолкал, проваливаясь в свои миры.

— Мам, я на ужин к Таис. Тётя Нинэ приготовила новую игру.

Он хотел что-то добавить, но передумал. Бросил сумку, чмокнул маму и побежал. Мать крикнула вслед:

— Хорошего вечера!

И скрылась в доме.

Глава 3. Таис

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

(Мф. 5:8)

Морфей отдалялся от дома. По привычке заглянул в сад Пруди — и не напрасно. Она махнула рукой и почти выскочила на дорогу. Вид у неё был взволнованный.

— Ты что такая, Пруди?

Пруди вздрогнула, не ожидая вопроса.

— Мама... — начала она и запнулась. — Мама недовольна мной.

— Что она сказала? — спросил Морфей.

— Ничего, — протянула Пруди. — Но разве надо что-то говорить? Я же чувствую.

— Чувствуешь, — эхом отозвался Морфей.

Что-то смутно тревожное шевельнулось у него в душе. Может, показалось? Нет, не показалось. Вспыхнуло, как искра.

— Я знаю, я никогда не стану по-настоящему достойной. Никогда. Я даже не знаю, как это...

Вдруг Морфея озарило. Вот же он, тот самый момент! Он может быть полезным. Не просто болтать без толку, как сказала мама. Он задумался на секунду — из-за угла выглянула Амигдала и принялась его обнюхивать.

— Я знаю, что у тебя всё будет отлично. Ты будешь не просто достойной — ты будешь великой.

И он со всей силой своего дара начал рисовать перед Пруди её будущее величие. Они шли по тропинке к Таис, а он всё говорил и говорил. Сам увлечшись, он не заметил, как лицо Пруди светлело с каждым словом. Осанка менялась. Вот она уже идёт, высоко подняв голову, на лице блуждает улыбка. Ей хорошо.

Впервые в жизни она почувствовала состояние, похожее на покой, смешанный с умиротворением. Предвкушение такой судьбы обволокло её.

Она так расслабилась, что остановилась и неожиданно чмокнула Морфея в щёку.

— Я зайду к Самсону, а ты иди, мы тебя догоним! — крикнула она и убежала.

Морфей остался на месте, ошеломлённый. Так вот что значит быть полезным? Он может рассказывать и придумывать так, чтобы людям было хорошо. Никто и никогда не реагировал на его рассказы так, как Пруди.

Эта мысль вошла в него, как солнечный луч — внезапно, но полностью, осветив всё внутри. Он почувствовал, как грудь наполнилась тёплым, почти живым чувством. Это было не просто удовольствие от похвалы. Это было нечто большее: он может менять мир вокруг себя, рассказывая истории. И это знание изменило его, возможно, навсегда.

Он шёл в задумчивости. Но на этот раз мысли были не о фантазиях. Он размышлял о другом: как его рассказы влияют на людей и на него самого. Вспоминал, как радовалась

Пруды. И наблюдал за своими ощущениями — ему тоже было хорошо. Ему так понравилась её реакция, что очень захотелось повторить.

Наконец он улыбнулся широко и искренне, и пошёл дальше, предвкушая игру.

Пруды догнала его гораздо быстрее, чем он ожидал. На вопрос, придёт ли Самсон, она молча покачала головой. Морфей смотрел на неё, пытаясь найти в ней те же свет и тепло, что были раньше. Но их уже не было. Она снова стала прежней Пруды.

Дверь в доме тёти Нинэ всегда была открыта. Казалось, они не закрывались даже ночью. Вокруг был небольшой палисадник. В нём почти ничего полезного не росло — с точки зрения хорошей хозяйки. Зато там были цветы и растения, которые просто нравились Нинэ. Дорожки, тенистые уголки. Огорода как такового не было. Где-то вдалеке пряталась грядка с тремя кустами помидоров, в другом углу — огурцы. Но это был не огород и даже не сад, а скорее странное, дикое, но очень уютное пространство.

Посреди этого сада стоял маленький дом. Он был похож на старую книгу с потёртым корешком: неказистый снаружи, но хранящий внутри целые миры. Каждая доска крыльца помнила тысячи детских ног, а резные наличники окон словно улыбались прохожим. Внутри всегда пахло деревом, сушёными травами и ещё чем-то неуловимым — тем ароматом, который бывает только в домах, где живут любовь и покой. Несмотря на свою миниатюрность, он казался уютным и милым. Вся комната дышала светом и воздухом. За окном ярко светило закатное солнце, заливая пространство тёплым золотом.

На полу расположилась почти вся компания: Таис, её мама Нинэ, Морфей и Пруды. Не было только Самсона.

— Пруды, ты ведь заходила к Самсону? — спросила Нинэ.

— Заходила, — вздохнула Пруды. — Но он не сможет прийти.

Нинэ понимающе кивнула и переключилась на игру. Настольные игры в этом доме были обычным делом. Нинэ умела радоваться жизни, была лёгкой, авантюрной, но порядочной и очень любознательной. В её арсенале тоже были истории, но совсем другие — о путешествиях, исторических персонажах, книгах, музыке. Вместе с тем она не была поверхностной, разбиралась в философии, хотя с детьми такими вещами не делилась. Но это просачивалось в её отношение к жизни.

Они с Таис постоянно были чем-то заняты: ходили на концерты, на выставки, обсуждали увиденное — насколько это вообще возможно с ребёнком. Таис видела в маме радость и восторг от жизни. Нинэ всегда подробно и интересно отвечала на любые вопросы, никогда никого не обвиняла и не критиковала. Может быть, потому, что это было ей просто неинтересно.

Дети обожали тётю Нинэ и часто навещали её. А какие она пекла булочки! Она замешивала тесто, словно танцевала, — руки двигались плавно и уверенно, с любовью. Когда булочки доставались из печи, их аромат разносился по всей округе, и соседи уже знали: к ним заглянет Нинэ с вазочкой румяных чудес. Хрустящая корочка, мягкая, воздушная серединка — казалось, в каждой булочке была спрятана частичка её души.

Тётя Нинэ была оптимисткой и умела передавать это чувство окружающим.

Однажды, перед Новым годом, она спешила из магазина, поскользнулась и сломала руку. Таис, узнав об этом, испугалась и с волнением ждала маму. Но стоило матери переступить порог, все страхи исчезли. Нинэ весело улыбалась, показывая гипс:

— Смотри, Тая, какой он крепкий! — сказала она. — Это специально, чтобы кости срослись.

Таис подошла поближе, осторожно коснулась холодной белой поверхности. Гипс был твёрдым и чужим, но мамина улыбка делала его почти красивым. Таис тогда подумала: если мама смеётся даже с такой рукой, значит, ничего страшного не случилось. И улыбнулась в ответ, чувствуя, как страх уходит.

— А булочек, значит, не будет? — грустно спросила Таис. — Скоро же Новый год!

— Почему не будет? — удивилась мама.

— У тебя же одна рука!

— А вот и нет! У меня сегодня пять рук. Булочки будут ещё вкуснее, чем обычно.

— Как это пять? — не поняла Таис.

— Очень просто: две твои, две бабушкины — и одна моя, чтобы вами руководить!

Все рассмеялись и принялись за дело.

А ещё Нинэ прекрасно шила. Когда-то в юности она была модницей, ходила в нарядах, каких никто не носил. Она доставала зарубежные журналы, снимала выкройки, сама кроила и шила. Со временем стала шить больше для друзей и, конечно, для дочери. Наряды были простые, но они так хорошо сидели на Таис, что девочка, и без того притягательная, выглядела в них особенно легко. И непонятно, кто кого украшал: то ли платья делали её красивее, то ли она — их.

Может быть, поэтому Таис любила всё делать руками. Они с мамой часами собирали гербарий: сушили листики в книжках, а потом вытаскивали их. Тая улыбалась, вспоминая, как мама брала жёсткую щётку и выбивала на листиках мелкие дырочки. А потом они приклеивали их на ватман, и получалась удивительная картина осеннего леса, сквозь которую проглядывало серое или голубое небо.

Таис нравилось всё делать руками.

Игра тем временем была в разгаре. В неё были погружены трое: Таис, Пруди и Нинэ. Морфей уже витал где-то в своих мыслях и переставлял фишки механически, беря карточки невпопад, чем жутко раздражал Пруди.

— Как так можно? — возмущалась она.

Сама она играла напряжённо, борясь за победу. Каждый неудачный ход расстраивал её. Она не хотела проигрыша другим — она хотела победить сама.

Таис же отдавалась игре полностью. Так учила её мама — не словами, а примером. В такие моменты Таис переставала быть просто девочкой: фишки становились героями её вселенной, карточки — приключениями. Время текло иначе, замедляясь, чтобы она могла наслаждаться каждым мгновением. Ей не нужно было побеждать — ей нужно было быть здесь, сейчас, в этом свете, в этом тепле.

Она знала это состояние с детства. Оно посещало её в лесу, когда она рассматривала деревья или вспоминала названия трав, которым научила её мама. Оно приходило и во время мытья посуды: тарелка за тарелкой, тарелка за тарелкой — и ей хотелось, чтобы они никогда не заканчивались.

Но сегодня усталость взяла своё. Таис усиленно моргала, пытаясь не уснуть. Веки становились всё тяжелее, мир расплывался, как акварельный рисунок под дождём. Голоса звучали приглушённо, и казалось, что она уже наполовину во сне. Она боролась с ним, но сон был слишком тёплым, слишком ласковым.

Вскоре игра закончилась. Победила Пруди. Она сияла, гордая собой, — от её напряжения не осталось и следа.

Таис уснула. Мать тихонько отнесла её в кровать.

Вернувшись к ребятам, Нинэ сказала:

— Игра закончена, чай выпит, булочки съедены. Пойдёмте, я вас провожу. Уже сумерки.

Она смотрела на ребят с любовью. Ей нравился Морфей — его живость и фантазии. Нравилась Пруди — её серьёзность. Она видела, как девочка радуется победе, и не стала говорить, что поддалась намеренно, чтобы вечер для неё состоялся.

Нинэ развела детей по домам. Обеспокоенная Нино уже ждала Морфея у дверей, другая Нин даже не вышла — её Пруди взрослая, справится сама.

Проходя мимо дома Инанны, женщина остановилась. В окнах горел свет, и сквозь занавески была видна бродящая тень мальчика. Она постояла минуту, раздумывая, и решительно поднялась на крыльцо. Постучала в дверь.

Глава 4. Самсон

«Проклят человек, который надеется на человека».
(Иер. 17:5)

В тот момент, когда Нинэ постучала в дверь к Инанне, Пруди горделиво рассказывала маме о победе в игре:

— Мам, я сегодня победила в игре. Я была собрана, внимательна и всех победила. Я была умнее всех.

Нина строго взглянула на дочь:

— Пруди, всё это хорошо, но это игра. В жизни так легко ничего не получается.

Пруди оторопела. Почему мама считает, что это было легко? Она сильно старалась и поэтому победила.

— Пруди, — мягче добавила мать, — нужно всё время соблюдать дисциплину. Никто и никогда не должен видеть, что с тобой что-то не так. Кто слаб — немедленно умрёт, кто крепок — вырастет на воле. Ты должна всегда стремиться к лучшему. Я не знаю, хватит ли у тебя силы...

— Иди спать. Надеюсь, ты помнишь, завтра у тебя концерт в музыкальной школе, и уж постарайся сыграть лучше всех.

Девочки учились в одной музыкальной школе и даже у одного учителя, которого обе обожали. Правда, каждая по-своему. Пруди старалась изо всех сил, плакала над инструментом, когда не получалось, слёзы капали на клавиатуру, но она продолжала играть. Учительнице было жаль её, но учёба требовала старания. И Пруди старалась — одобрение учительницы было для неё как глоток свежего воздуха.

Морфей тоже ещё не спал и делился впечатлениями дня, лёжа в постели. Он вертелся и ёрзал, садился на кровать, и мать уже несколько раз поправляла ему простыню, которую он неизменно превращал в сорочье гнездо.

— А ещё, — продолжал Морфей, — я сегодня помог Пруди. Как ты учила, я стал полезным. Мам, я не просто сочинял, я рассказал Пруди, какая она великая и как у неё сложится жизнь.

И он пустился в подробный рассказ о том, что говорил и как радовалась Пруди. Правда, про то, что она поцеловала его в щёку, почему-то промолчал.

— Ты у меня молодец. Очень славно, что ты смог помочь Пруди. А сейчас спи, поздно уже.

Нино привычным движением погладила его по голове, поцеловала и выключила свет.

Нинэ постояла минуту у двери, словно раздумывая, и решительно поднялась на крыльцо, постучала. Дверь открыл мальчик лет девяти-десяти, крепко сложенный, но странно сутулый для своих лет. Смотрел слегка исподлобья — не злой и не затравленный, скорее усталый и отстранённый. Дом пах старой тканью и лекарствами — запахом, который въелся в стены и уже не выветривался даже летом, когда окна открывали настежь. В углах прятался полумрак, а мебель, хоть и старая, была вытерта до блеска многочисленными прикосновениями заботливых рук. Здесь жила болезнь, но ещё здесь жила любовь, и она была громче любого недуга.

— Здравствуйте, тётя Нинэ, — он улыбнулся и обернулся к матери: — Мама, тётя Нинэ пришла.

Его улыбка стала шире, и он превратился из маленького старичка в весёлого мальчика.

Мать Самсона, Инанна, сделала движение, чтобы встать со стула и встретить гостью. Видно было, что эта попытка давалась ей нелегко.

— Сиди-сиди, — поспешно сказала Нинэ.

— Самсон, сынок, поставь чайник, — попросила Инанна.

Тот спокойно и обстоятельно вышел на кухню. Нинэ знала: Самсон не только поставит чайник, он нальёт чашки чая, достанет печенье и конфеты, всё расставит на поднос и принесёт в комнату женщинам.

Когда Самсон скрылся, Нинэ обратилась к Инанне, слегка понизив голос — не до шёпота, но приглушённо:

— Что, Инанна, так плохо?

— Жалко, что ты не смогла отпустить Самсона к нам, мы чудесно провели вечер, дети играли и радовали. Я даже сама позабыла о времени, — она улыбнулась своей лучистой улыбкой. — Представляю, как разозлилась Нин — никакого порядку!

И Нинэ заливисто рассмеялась.

— Ой, — вздохнула Инанна. — Какой не отпустила... Говорила: иди, ну что ты. В первый раз что ли колени болят. Так нет, упёрся. Я ему уж говорю: всё, мне лучше кино буду смотреть. А он: «Ну и смотри, я пойду, воды натаascaю».

Надо сказать, Самсон был не по годам сильным мальчиком. Его физическая трудоспособность поражала.

— Ты же знаешь, — продолжала Инанна, — мой ревматоидный артрит никуда не уйдёт. Хуже будет.

— Милая — сказала Нинэ с искренним восхищением, — у тебя чудесный сын. Умный, трудолюбивый, заботливый. А тебя как любит! Он же даже когда с нашими оболтусами разговаривает — всё мама да мама. С таким сыном и мужа никакого не надо, ты с ним как за каменной стеной.

— Да, за стеной, — эхом отозвалась Инанна. — Нельзя мальчику так жить. Он должен с мальчишками бегать, да с девчонками учиться общаться. А он всё со мной. И никак не могу его от себя отогнать. Почему он такой — ума не приложу.

Нинэ слышала рассказы про болезни Самсона очень-очень много раз, но не стала перебивать, а только кивала. Может быть, в тот момент, когда Инанна рассказывала про это, ей становилось легче.

— Трёх ведь лет не было, а он уже ключик проглотил. Играл, играл, да проглотил. Ой, я ночью слышу — хрипит, подбегаю к нему, а он весь красный, говорить не может. В темноте я сначала подумала, что это ветер, — такой был тихий, надсадный звук, как будто кто-то пытается крикнуть, но горло сжато. А когда подбежала, он смотрел на меня, и в его глазах был такой ужас, такой немой крик, что я просто окаменела на секунду, а потом схватила его на руки и побежала, не чувствуя ног. Скорую скорее вызвали, поехали — и сразу на операционный стол. Слава хирургу, вытащили ключик.

Помню, лежал потом с холодом на груди. И говорили врачи: ждём воспаление лёгких, ждём. Так ведь девять дней ждали, всё никак не было, и только на девятый день началось. Врач тогда сказал: «Ну и сильный у вас малыш. Обычно на второй-третий день уже воспаление, а этот аж целых девять дней продержался».

И Инанна снова вздохнула.

Нинэ обратила внимание, что когда Инанна рассказывала это, в её словах звучала какая-то гордость за сына. Как будто бы не заболев воспалением лёгких на девятый день, он уже совершал какой-то героический подвиг, будучи ещё совершенно маленьким ребёнком.

Самсон тем временем уже всё приготовил на поднос: осталось только налить чаю и зайти в комнату. Но, услышав, о чём идёт разговор, он не стал. Он знал, что маме лучше выговориться, ей станет легче. А если он зайдёт, они не будут разговаривать на те темы, которые действительно волнуют мать.

Он сел на стул и невольно прислушался. Да, он знал эту историю про ключик. Мама часто её рассказывала — и в детстве, и когда он стал уже, как ему казалось, совсем взрослым.

Он из этой истории не помнил ровным счётом ничего. Нет, пожалуй, он помнил тот момент, когда вытащил ключик. Был огромный будильник, звенящий в колокола. Ключик был тоже достаточно большой — он полностью помещался на детскую ладошку. Почему он взял его в рот, он плохо помнил. То ли он боялся его потерять, то ли хотел не забыть и утром поиграть с будильником — он сам не помнил. Но факт остаётся фактом: он положил его в рот и, видимо, уснул.

— А потом, — продолжала Инанна, — это жуткий аппендицит с перитонитом. Как мы ехали, ой, сколько же мы ехали... Ты же знаешь, мы тогда были на даче детского сада. Ой, как хорошо, что я была в то время рядом с ним, а так бы неизвестно, чем кончилось. Бедный мальчик. Тоже приехали — и сразу на операционный стол.

Тяжело ему было, хотя он бегал, как все ребяташки. Всё встать раньше времени норовил, ох и ругалась я тогда на него. А что было ругаться? Теперь вот жалею.

А вот эту историю Самсон уже помнил хорошо. Более того, она оставила в его душе огромную обиду.

Он был маленьким, ему было, наверное, года четыре. Они с мамой были на даче детского сада. Были такие хорошие детские сады, которые имели ещё и дачи, и вывозили ребяташек на летний период с воспитателями на природу. Он был в таком саду. Был он там не просто так, а потому что мама его подрабатывала там. Он был с одной стороны у неё на глазах, рядом, а с другой — мог спокойно дышать воздухом. Вообще-то ребяташек в таком возрасте там не было, в основном это были пяти-шестилетние дети.

Он очень хорошо помнил, как у него заболел живот. Ему стало очень больно. Обычно он всегда терпел, редко кому что рассказывал. Будучи ребёнком, он подошёл к заведующей и сказал:

— Я не хочу есть.

— Почему? — строго сказала она.

— Потому что у меня болит живот. Сильно болит.

Заведующая строго посмотрела на него и ответила:

— Не ври, Самсон. Ничего у тебя не болит. На самом деле ты просто не хочешь завтракать, ты не хочешь есть кашу.

— Нет, у меня правда болит, — сказал он, но как-то приглушённо, начиная как будто сомневаться в собственных ощущениях.

— Не ври, говорю. Иди и ешь кашу.

Потом, конечно, всё разрешилось, все поняли, что он не обманывает. Но эта обида, когда ему не поверили, когда ему было так больно, всё равно навсегда осталась в его душе.

А вот больница, куда он попал, ему, напротив, нравилась. Там были хорошие, добрые врачи, приятные медсестры, там было много ребяташек, с которыми можно было играть. В палате ему всё нравилось. Он очень хорошо помнил кисель, который ел после операции. Он был такой тягучий, вкусный. С тех пор кисель он почему-то очень любил.

— Только-только подняли его, — вздыхала Инанна. — Стали ходить на массаж. Ой, если бы не эта замечательная массажистка... Как она поняла, что что-то не в порядке с Самсоном, уж не знаю. Говорит: «Массаж ему делаю, животик глажу, а он весь как будто сгибается. Сходите, говорит, на рентген, что-то, видимо, с позвоночником не то».

И сходили. А там, там оказался перелом грудного позвонка — шестого до седьмого, кажется. — И Инанна задумалась. — Да нет, точно шестого-седьмого, не могла же я перепутать.

— И опять больница. Да какая... И больница-то была не шибко хорошая, и пустить меня туда с ним не пустили. Всё ходило кругами вокруг.

— Три месяца пролежал несчастный ребёнок. А ведь ему же и вставать нельзя, и сидеть нельзя. На боках можно спать — только на одном. Помню, доску ему положили, такую прямую,

не помню уже, от чего оторвали. Нельзя было ему на мягком спать. Так и спал на этой самой доске.

— Помню, как хирург рентген сделал, говорит: перелом у ребёнка, нельзя ему спину сгибать, ходить ему нельзя. Вот я и таскала его на вытянутых руках, чтобы не согнулся он, чтобы не повредить ещё его позвоночник сильнее.

Самсон внутренне сжался. Этот рассказ почему-то всегда вызывал в нём особое болезненное ощущение — как мама на вытянутых руках его таскала. Он представлял слабые мамнины ручки, её тщедушную фигурку — и весь сжимался. Как будто это был кусочек какой-то... Он не понимал, что это, но ему казалось, было так жаль её, что он не мог совладать с этими своими чувствами.

Эту свою больницу он помнил ещё лучше и помнил её с такой откровенной ненавистью, что даже сейчас сцеплял зубы. В палате лежали дети, которых он плохо помнил. Они были как тени — безликие, перемещающиеся по палате в своих больничных рубашках. Одни плакали, другие играли в молчанку, третьи просто сидели у стен, уставившись в одну точку. Самсон не любил их. Не за что-то конкретное, а за то, что они напоминали ему, что он — такой же, как они: приговорённый к постели, к тишине, к долгому ожиданию, когда жизнь начнётся снова. Лежала там мамаша с отвратительно мелким ребёнком, который всё время орал. Эта мамаша всегда воровала его колготки из тумбочки, и в конце концов, когда мама пересылала ему новые, очень удивлялась, куда деваются все остальные и почему он не собирает их в мешочек. А остальных просто непростя было.

Он с горечью вспомнил, как он совершенно не мог ходить на этот специальный унитаз для лежачих. Как же он назывался? Птица какая-то, чёрт, не помню, что за птица. А может, это вовсе и не птица? Не мог сходить, тяжело ему было. А вставать не разрешали, да он и сам боялся. Ему говорили: если ты встанешь, у тебя на спине будет огромный горб, и ты так навсегда останешься с этим горбом.

Поэтому целый день он терпел, старался меньше пить, есть и не ходить в туалет. Не потому что не хотел есть, а потому что знал: нужно дожидаться ночи. Дождавшись ночи, он тихонько сползал с кровати, вставал на четвереньки и тихо-тихо полз в туалет. Да, там, конечно, чтобы сходить в туалет, он вынужден был как-то вставать. Чтобы сделать это. Но это было его вставание — он быстро делал и тут же становился на четвереньки, потому что стоять было нельзя.

И снова — курс обратно в палату. Да, это было тяжело, но это было гораздо лучше, чем сходить на эту... господи, как же её называют?

Самым светлым его воспоминанием этого времени было, как однажды пришла его мама. Она пришла с наброшенным на плечи белым халатом, улыбалась, села рядом, погладила его по голове. Протянула какой-то фрукт — это он уже позже узнал, что этот, не похожий ни на мандарин, ни на апельсин, фрукт назывался грейпфрутом. Первый раз в жизни он попробовал его. Вкусный он был.

Мама недолго была рядом, но всё-таки была, и он был от этого счастлив.

Мама взяла его любимую игрушку — белого козлика.

— А зачем ты его сгрыз? — спросила она, видя, как покоцанны лапки и рожки козлика. Она знала прекрасно, что ребёнок очень любил эту игрушку.

— Не знаю, — ответил тогда Самсон. — Это не я, наверное. А может, и я. Я не знаю.

Он так до сих пор и не понял, почему он грыз козлика. Но неизменно, когда ему становилось плохо, он начинал его грызть, и вроде проблемы словно улетучивались.

Инанна ненадолго замолчала, вздохнула и поморщилась — то ли от душевной, то ли от физической боли, сопровождавшей её.

А вот потом, возле этой больницы, — вспоминал Самсон, — была другая хорошая. Почему-то его отправили из той больницы, где он лежал, совершенно в другую. Он должен

был пролежать три месяца, но пролежал, по-моему, два с чем-то. В той другой больнице с ним уже была мама. Вот там было отлично.

Там давали на завтрак такие вкусные сорочки — он никогда больше не видел таких. Они были прямоугольной формы, но не такие, как «Дружба», а как будто бы в половину, вытянутый квадратик такой. Посередине была всегда красная ленточка. Он помнил, как отрывал эту ленточку и съедал этот сыр. Он был очень вкусный, он ему нравился, хотя многие дети почему-то не хотели его есть.

Но было и другое — опять же из еды — то, что он терпеть не мог и больше никогда не смог пить. Это был напиток золотистый, по идее — апельсиновый. И вот этот вкус апельсинового напитка ему чертовски не нравился. А почему — он не мог бы сказать. Сейчас, став взрослее, его до сих пор передёргивало от запаха апельсинового сока.

Как странно, подумал Самсон. Ну что, наверное, надо уже нести чай. Иначе мама никогда не закончит эти воспоминания.

Но остановился, потому что мама продолжила.

— А потом, представляешь, уж не знаю как, он, лёжа в постели, схватил пиелонефрит, и его перевели в третью больницу. Как я уж там ходила, как я упрашивала заведующую положить меня вместе с ним... Слава богу, она пошла мне навстречу. Говорит: «Просто так вас положить не могу, понимаете, но у нас нет санитарки. Если вы будете мыть палаты и коридор, то, конечно, я вас возьму».

И она согласилась.

— Ох, — снова вздохнула Инанна. — Представляешь, с трёх до шести лет столько пережить... За три года. Вот, наверное, намаялся он со своими болезнями. Теперь и выходит, что со мной происходит, наверное, это от своего опыта.

Знаешь, я недавно перебирала открытки, которые нам родня присылала. Маленький он тогда был, поздравление его с днём рождения. И знаешь что? В каждой открытке я читала только одно: «Ты сильный мальчик, ты справишься. С днём рождения тебя. Здоровья, здоровья и здоровья. Не более больше никогда».

Ты знаешь, надо сказать, после того он как будто и перестал болеть. Наверное, все его болезни за три года, которые в жизни были назначены, прошли.

Вот это подходящий момент, подумал Самсон, и спокойно, как всегда, вошёл в комнату, неся чашки с дымящимся ароматным чаем.

Инанна хотела ещё что-то сказать, но в комнату степенно и обстоятельно вошёл Самсон с подносом.

— Слышишь, Самсон, — обратилась к нему мать. — Игра прошла чудесно, зря ты не пошёл.

— Не страшно, мамуль, потом схожу, наиграюсь ещё, — отозвался с достоинством сын, а сам подумал: какая игра, сдалась она ему. Он только хотел лечь и поспать. Ну, пусть не поспать, просто подремать. Хоть школа закончилась, теперь у него будет больше времени заняться домом и подумать, как развеселить маму. Он стал привычно перебирать список дел, которые нужно сделать.

Женщины пили чай и неспешно беседовали о всякой всячине. В основном говорила Нинэ — она была хорошей рассказчицей. Самсон любил тётю Нинэ: когда она заходила, мама словно бодрилась, активно и заинтересованно слушала и даже смеялась время от времени, морщилась от боли, но смеялась.

Время давно перевалило за полночь, но Самсон был готов сидеть весь вечер. Он был счастлив видеть такую мать.

Наконец Самсона с трудом отправили спать. Он возражал что-то про посуду, но Нинэ уверила его, что всё уберёт сама, ей надо размяться, а то к стулу прирастёт. Самсон чуть нахмурился после её слов про стул, но решил, что тётя Нинэ не со зла, и удалился спать.

Женщины продолжили беседу.

— Инанна, ты помнишь, что завтра годовщина смерти Аркануса? — тихо спросила Нинэ.

— Как не помнить, — ответила Инана и вдруг преобразилась. Спина расправилась, голос стал чётче и злее. — Вот человек был, не то что этот урод... Олегапс... в голове не укладывается.

— Да, — сказала Нинэ. — Всякое случается.

— Всякое случается, — прошипела Инанна, и глаза её стали холодными, как иглы.

— Это что же случается? Младший брат, мальчишка, рискуя жизнью, живёт. Мать и сестёр на горбе тащит, мужчин наших раненых в подвале прячет, гадов этих от дома отводит, кривляется, унижается, сапоги им лижет. Собачка ихняя он, прыгает, когда ему сахар кидают, да кости обглоданные.

И он прыгал. Он лаял и выл перед ними, пьяными, свистящими, когда они вваливались в дом, — маленький мальчишка на четвереньках, кружащий вокруг их сапог. Он вставал на колени и тявкал тонко, как щенок, и клацал зубами у их ног, пока они ржали и пинали его. А он смотрел на них снизу вверх, и в глазах его горела такая ненависть, что если бы взглядом можно было убить, они бы падали замертво один за другим. Но он улыбался, вертел хвостом, выпрашивал подачку, чтобы они отвели свои пьяные взгляды от подвала, где лежали наши солдаты. Он не был их собакой. Он был волком, запертым в шкуру дворняжки, и он делал это ради тех, кого любил. И всё ради того, чтобы эти ублюдки, пока развлекаются, в дом к нему не совались, не прознали, ни про раненых, ни про что. И даже то, что ему накидали, прятал, матери и раненым таскает.

Она вскочила быстро, без всякого труда — движения её уже не были скованны. Она зашагала взад-вперёд по комнате.

— И вот, когда твой брат это делает, ты, ушедший на фронт, бежишь оттуда. Предатель. Паразит. Урод. Нелюдь. Шляешься по деревням, от немцев прячешься. Время для расстрельных. На трупах ребятишек, наших, лежишь, закапываешься в них, чтобы тебя не нашли. Потом бабке деревенской голову заморочил: партизан, своих потерял. Она еду ему таскала, от себя отрывала, сама работала по шестнадцать часов, жизнью рисковала. Всякое случается!

И ведь ублюдок, войну пережил. Так и жил у бабы Люды аж до пятидесяти второго года. Слава богу, сдох — в рвоте собственной захлебнулся.

Инанна, как вкопанная, застыла посреди комнаты. В её облике не было ничего от больного человека. Она была воплощением ненависти. Нинэ показалось, что ещё секунда — и желчь начнёт сочиться прямо сквозь её кожу.

— Инанна, успокойся. Самсон спит.

— Да, он был слаб, — тихо, но не сдаваясь, сказала Нинэ. — Он страдал от приступов эпилепсии, ты же знаешь. Он просто не мог иначе. И в конце концов, если бы он не прятался у бабы Люды, то не родился бы отец Самсона. И Самсонушки у тебя бы не было.

— Не родила, — утвердительно отозвалась Инана. — Ещё одного урода. И Самсона я бы от этого не родила.

Она снова зашипела, наклонилась к лицу Нинэ, брызгая слюной:

— Нет! Такой причины нет, чтобы оправдать предательство! Нет ничего страшнее, чем предательство! Пусть вечно горят в аду эти иуды.

Казалось, последняя фраза забрала у неё остатки силы. Она сползла, как мешок, прямо на пол, закрыла лицо руками и заплакала.

— Арканус... — всхлипывала она. — Святой наш дед Арканус...

— Тише-тише, успокойся, — шептала Нинэ.

Голова Инанны уже лежала у Нинэ на коленях. Та гладила её по голове:

— Самсончик спит. Разбудишь.

Инанна подняла голову, посмотрела на Нинэ и уже еле слышным шёпотом сказала:

— Пойду завтра к нему на могилку. Хоть ползком приползу.

Самсон давно не спал. Он проснулся от первого крика матери, хотел выбежать — что происходит? — но потом быстро понял и не стал вставать. Он знал, он слышал эти сцены. Он лежал, глядя в потолок, и слышал каждое слово, каждый вздох, каждый сдавленный всхлип. Стена рядом с его кроватью была изрыта ногтями — он сам не зная когда, выковырял в ней ямку, потом ещё одну, потом целую дорожку. Пальцы двигались сами, когда мама говорила так — словно рыл тоннель, которым он мог бы выбраться из этой комнаты, из этой боли, из этой невозможности ничего изменить. Мать никогда так не разговаривала с ним и лишь часто повторяла: лучше сдохнуть, чем стать предателем. И он давно решил: он никогда не предаст никого ни за что. Он будет сильным, будет терпеть что угодно,

всегда, всегда, всегда! За окошком истошным лаем залилась Амигдала.

Глава 5

В воздухе ещё витали остатки ночи, когда Нинэ вышла на крыльцо. Она вдохнула полной грудью свежий утренний воздух, улыбнулась, прислушалась — птицы ещё молчали. Бодро и энергично потянувшись, она вернулась в дом и прошла на кухню.

— Так, сегодня чудесный, но насыщенный день, — начала она, перебирая в уме планы. — Во-первых, утром надо сходить на могилку к деду Арканусу. Нино точно придёт. Думаю, и Инанна доковыляет. А вот Нин — неизвестно. Ну да ладно, как будет, так будет. В два часа дня у Таис концерт в музыкальной школе. Да, она такая кроха, а уже занимается. Девочка музыкальная, но леновата...

Нинэ просияла, вспомнив дочь.

— А может, ещё просто маленькая. Тоже подготовиться надо: платье, банты, всё как полагается. А потом у деток чаепитие. Традицию чаепития после экзаменов или, как их называли, академических концертов ввела Микаэла Натальевна — учительница музыки, женщина с безусловно аристократическими корнями. Она, наверняка, знала эту свою родословную, но никогда ни словом, ни жестом не выдавала этого.

Нинэ была очень рада, что отдала Таечку именно к ней учиться. В Микаэле Натальевне было всё, но всё было в меру и достаточно: весёлость, общительность, коммуникабельность, профессионализм, близость к детям — они её обожали, — чувство собственного достоинства, открытость и умение одним своим видом даже не допускать мысли о фамильярности.

Как Тая подготовилась, Нинэ не знала. Что-то играла. «Ой, — подумала она, — как сыграл так и сыграет. Главное, чтобы ей нравилось». Надо сходить на концерт в выходные, подумала Нинэ. Давно мы туда не выбирались. И она взялась разглаживать утюгом оборочки детского платьица.

Нино тоже встала рано. Все женщины вставали рано. Позже всех вставала Инанна — промучившись всю ночь с болями, она засыпала под утро глубоким крепким сном.

Нино обожала готовить, вкусно кормить гостей и всю округу. Первым делом она взялась за стряпню: куличики деду Арканусу на могилку — помянуть, заварные эклеры — огромные, размером с ладонь, с божественным вкусом и невесомым кремом — на концерт к деткам.

Морфей не занимался музыкой, но его всегда тянуло в зону любого творчества и искусства. Может, потому так и нравилась ему Таис, так легко было с ней общаться — потому что она видела поэтические, музыкальные тонкости его миров.

Нинэ достала для себя платье. Вначале хотела сразу надеть одно, но передумала — негоже это, на кладбище и на праздник идти в одном. Достала второе. Откуда-то из дальних углов ей в руки вывалился галстук. Как он умудрился сохраниться, подумала она. Это был галстук Деризэла, отца Морфея. Нинэ повертела галстук секунды три, кинула небрежно обратно в шкаф и продолжила сборы.

Прямая уличная дорога давно закончилась, и женщины свернули на просёлочную. Селение осталось позади, и они огибали опушку леса, за которой располагался погост. Впереди шли Нино и Нинэ — спокойно и размеренно. Нинэ обычно была более подвижна и энергична, но то ли подстраиваясь под ритм Нино, то ли замедляясь из-за местности. Следом, на расстоянии десяти метров, шла Инанна, мать Самсона.

Самсон был единственным ребёнком, который пошёл на кладбище. Он вёл маму под руку, поддерживая и останавливаясь, чтобы та передохнула.

Нин, как и ожидали подруги, на кладбище не пошла. Когда-то давно ходила — ещё до развода с мужем. А как развелась, перестала.

Женщины увидели вдалеке знакомый крест и невольно ускорили шаг. Крест стоял среди высокой травы, уже слегка пожелтевшей от первой пережитой зимы, и казался единственным

ориентиром в этом море зелени. Нинэ перекрестилась, подходя ближе, и в её голове промелькнуло: сколько же лет прошло, а он всё так же смотрит на неё с фотографии — молодой, весёлый, несмотря ни на что.

Тем временем Нин сидела в кресле, как будто это был жёсткий стул, и стучала пальцами по столу, отбивая ритм пьесы, которую играла на пианино Пруди. Прозвучал последний аккорд. Девочка напряжённо обернулась к матери.

— Неплохо, — сказала та, — но я знаю, ты можешь лучше. Конечно, если бы ты добавила ответственности и не занималась чем попало, а репетировала, было бы лучше. Ну уж как есть.

Пруди собиралась встать из-за инструмента, но Нин вскинула на неё удивлённый взгляд:

— Давай-ка ещё разок.

И музыка зазвучала снова, заливая комнату и вырываясь из окон на улицу.

Морфей и Таис в это время, как водится, валяли дурака. Впрочем, Таис была не просто весела, она была в предвкушении: скоро концерт, и там будет звучать так много музыки. Она не знала, что именно будут играть другие дети, и ей было очень, очень любопытно.

Морфей тоже готовился к концерту. Он любил не только музыку, но и саму атмосферу — она была столь созвучна ему, что он невольно пропускал всё через себя.

Они сидели в доме Таис и о чём-то болтали, когда в проёме показалась Пруди. На ней был шикарный костюм с жакетом, слишком жарким для стоящей погоды. Вид её был величественный и торжественный.

— Привет! — крикнул первым Морфей.

Пруди небрежно кивнула и обратилась к Таис:

— Ты уже всё отрепетировала?

— Нет, — отозвалась Таис. — Я сегодня не садилась, так проиграла в голове.

Пруди победоносно вскинула голову:

— Ну-ну.

— Что делаете?

— Да, собственно, ничего. Мамы все ушли поминать деда Аркануса. Он был герой, — сказала Таис.

— Да, все герои, — отозвался Морфей, — и мой папа герой.

Пруди насмешливо вставила:

— Герой? Война-то закончилась, когда твой папа родился. Да и где он, герой твой?

— Я знаю, он герой! Он летел на самолёте, он лётчик-испытатель! — И Морфей затянул известную песню.

Нин отпустила дочь до концерта — побыть с ребятами, пусть вместе придут. Ах, как великолепно играла сегодня утром Пруди, как же это красиво! Она не просто готова — она готова блестяще. Нин улыбнулась тёплой и грустной улыбкой.

Нин очень любила музыку, так мечтала играть, но куда там. Она тоже была ребёнком войны, Она не любила об этом говорить — не потому, что стыдно, а потому, что слова не могли передать того, что она носила внутри. Слова были слишком лёгкими, слишком гладкими, а её память — рваная, тягучая, как та нитка, которую она в детстве вытаскивала из старого бушлата, чтобы зашить разорванную подушку.

Она помнила не столько события, сколько ощущения: холод, который не проходил даже летом, когда солнце припекало, а внутри всё равно зябло, как будто зима поселилась под кожей. Голод, который въедался в кости, делал их хрупкими, а мысли — тягучими и медленными, как смола. И тишину — странную, звенящую тишину, когда взрослые замолкали, прислушиваясь, не летят ли самолёты, и даже дыхание становилось невесомым, чтобы не привлечь внимания.

Она помнила, как ребёнком она снова и снова перекапывала уже вскопанный огород по осени — на тот случай, если вдруг какой-то овощ остался лежать в земле. Пальцы мёрзли, ногти ломались, но она не останавливалась, потому что каждая мелкая картофелина, каждый забы-

тый корешок был шансом прожить ещё один день. Она помнит, что картошка была маленькой, размером с монетку. Всё, что можно было найти, всё, что можно было съесть, — всё шло в дело. Не потому что жадность, а потому что главное выжить. Ведь завтра могло не быть ничего.

И ещё она помнила, как мать учила её не плакать. «Слёзы — дорого стоят — говорила мать, — и слабых забирают». Она говорила это негромко, почти шёпотом, но в каждом слове стояла сталь — та самая, что держала их всех на плаву. Нин запомнила это на всю жизнь. Она не плакала. Она не позволяла себе быть слабой. Она научилась держать лицо, когда внутри всё рушилось.

Война прошла. Жизнь стала нормальной, даже хорошей — сравнить нельзя с тем, что было. Но Нин уже не могла жить иначе. Она вынесла из войны не только шрамы, не только потери, но и главное правило: мир — это хаос, а хаос надо держать под контролем. И она начала создавать свой порядок — маленький, свой, где всё было на своих местах. Где тарелки стояли ровно, где вещи лежали аккуратно, где каждый шаг был продуман. Она не могла контролировать мир, но она могла контролировать свою комнату, свой дом.

Она не умела говорить о чувствах. Она умела только проверять, поправлять, требовать. И никогда не объясняла почему. Потому что объяснять — значило снова пережить то, что было. А переживать снова было нельзя.

И, конечно, война забрала у неё многое — то, что вернуть было уже нельзя. Она страстно хотела научиться музыке, но никаких возможностей для этого не было. Как не было возможности на многое другое — то, о чём она даже перестала мечтать, потому что мечты только растравляли душу. Она помнила, как однажды в школе учительница сказала, что у неё тонкий слух, и Нин на миг позволила себе поверить, что однажды она сядет за пианино. Но пианино не было. И денег на него не было. И времени не было. И этой мечте пришлось умереть, как умирают многие мечты — тихо, без свидетелей, оставляя после себя только лёгкую, почти невесомую пустоту.

Каждая такая потеря, каждое «нет» судьбы требовало сил, чтобы пережить его и не сломаться. И для этого тоже нужны были порядок, сдержанность, воля. Нин научилась не жалеть о том, чего не случилось. Она просто закрывала эту дверь и шла дальше. Потому что иначе — нельзя. А если нельзя, значит, не надо даже пробовать. А вот уж когда родилась дочь, сделала всё возможное, чтобы девочка играла.

Нин подошла к комоду и достала альбом. Альбом был старым, с потёртым корешком и выцветшими страницами. Нин перелистывала его медленно, с каким-то щемящим чувством, которое она не могла назвать. Каждая фотография была как дверь в прошлое — туда, где всё ещё было возможно, где дед Арканус стоял на пороге дома и улыбался своей озорной улыбкой, не зная, что ждёт его впереди. Пролистала спешно несколько страниц и остановилась на фото.

Там был изображён морщинистый, улыбчивый мужчина. Она давно не ходила на кладбище — что толку гостям поклоняться, — но вспоминала его часто. Вот и сейчас, проводив Пруди, она расслабилась насколько могла. Позволила расслабиться этой собранной женщине, достала стопку, снова взглянула на фото. Погладила его.

Волосы у мужчины были седые, но, вероятно, когда-то он был почти красив.

— Дед Арканус, — усмехнулась Нин.

Дед? Он был старше её всего лет на шесть или семь.

Морфей заметил, что его никто не слушает. Девочки щебетали между собой. До конца концерта было ещё часа два, и Морфей решил сбежать домой — может, мама уже вернулась.

Нино тем временем действительно шла домой, но была ещё далеко, а шла неспешно, погружённая в раздумья.

Дэриэл всплывал в её голове сегодня постоянно. Как началось с галстука — будь он неладен, и галстук этот, и Дэриэл. Она вспоминала, как он приходил домой, улыбался, заливался

соловьём о ночных дежурствах, как находила свои потерянные перчатки у его коллег — он их упёр, да другой бабе подарил.

Нинэ начинала заводиться. Сколько вранья и треп! Всё трепал и трепал, всё выкручивался, как уж на сковородке. Она не по-женски смачно плюнула в дорогу. Сколько их было у него, этих женщин? Пять? Десять? Неизвестно. Но дело даже не в женщинах, а в том, что он бесконечно врал. Причём врал всем своим женщинам. Как-то она уже после их развода пере-секалась с некоторыми из них — такие истории слушала, что затошнило.

А ведь в самом начале он её этим своим умением говорить образно, горячо и убедительно и притянул. Обаял. Какая гадость — как будто в грязи испачкалась после всех его сказок.

Нино разошлась не на шутку. Она уже вела с ним давно ненужный, бессмысленный диалог:

— Как ты в глаза-то людям можешь смотреть? Ты всех обманул. Враль!

Лицо Нино покраснело. И Морфей своим голосом резко выдернул её в реальный мир:

— Мама, мама, я понял! Папа был лётчиком-героем, он летал на истребителе...

Морфей не успел закончить.

— Каком истребителе?! — неожиданно зло закричала мать. — Сколько это будет продолжаться? Сколько можно сочинять и сочинять? Людям только боль от этих сказок! Что хорошего от этого треп? Хватит! — она рявкнула и пошла дальше, как будто сквозь Морфея.

Морфей остолбенел, замолчал, потом сел на траву в красивых брюках, одетых в честь концерта. Он сидел тихо-тихо, казалось, не дышал, и только кипящими струйками текли по его щекам слёзы.

Кто-то тыкался ему в бок. Он повернулся — Амигдала. Она смотрела на него тревожными глазами, тянула за штанину, вставала на задние лапы, но он отмахнулся от неё.

— Один вред, — эхом повторил он. — Один вред.

Он уже шёл по тропинке в сторону летней эстрады. Шёл тихо, молча, руки его висели вдоль тела, как плети, и только теперь было видно, что они непропорционально длинные.

Странное ощущение привлекло его внимание — как будто кто-то застрял у него в груди.

«Значит, только для пользы? Для людей? Ведь для людей можно», — мысли пронеслись в его голове с привычной скоростью.

— Да, — почти вслух сказал он, словно приняв какое-то решение.

Плечи его вновь расправились, руки зашевелились, походка обрела свою стремительность, и на лице появилась знакомая озорная улыбка. К эстраде Морфей подошёл таким, как всегда — сияющим и задорным мальчиком.

Самсон издали увидел Морфея, как-то лениво махнул ему рукой, приглашая сесть рядом. Морфей прискакал и плюхнулся.

— Ты один? — коротко спросил он.

— Да, — забасил Самсон. — Мама после кладбища очень устала, я думал остаться с ней, но она рассердилась, сказала, что если я не хочу, чтобы она расстраивалась, то должен пойти на концерт.

— Это здорово, что ты пришёл, — просто сказал Морфей. — А где Таис?

— Пруди и Таис уже за кулисами. Таис играет вторым номером, Пруди — четвёртым.

На сцене появилась Микаэла Натальевна. Она всегда вела концерты, и не было ей в этом деле конкурентов. Казалось, если бы она даже говорила не о музыке, а декламировала таблицу умножения, зал бы всё равно слушал её, заворожённо внимая каждому слову.

Публика затихла. Теперь Морфей увидел взрослых: женщины сидели в первом ряду и приготовились слушать.

Мама Морфея обернулась в зрительный зал, нашла глазами Морфея, заулыбалась и помахала ему рукой. Он вскочил и замахал обеими руками. Самсон потянул его на место, и Морфей упал в кресло.

Первый исполнитель — щуплый мальчик в нелепой оправе — отыграл пьесы хорошо. Пьеса не была сильно сложной, но сыгранная достойно, она оставила своё впечатление. Микаэла Натальевна объявила Таис. Та выпорхнула на сцену — самая маленькая ученица, села за инструмент, но пришлось ещё подкладывать подушки — ножки её не доставали даже до приставной скамеечки и просто болтались в воздухе. Она вызвала умиление одним своим видом.

Нинэ, щурясь от солнца, смотрела на свою дочку.

Таис заиграла. Звуки полились из-под её пальцев, сначала робко, но с каждым тактом всё увереннее. Казалось, что она не просто играет — она разговаривает с инструментом, доверяет ему свои тайны, которые никто не знает. Её маленькое тело качалось в такт, а глаза были устремлены куда-то вдаль, туда, где музыка рождается прежде, чем её слышат люди. Это было что-то серьёзное по звучанию — возможно, полифония, хоть и простенькая. И вдруг, буквально через два такта, Таис словно стала расти и набирать мощь вместе с музыкой. Она играла легко, но глубоко. Это было неожиданное исполнение от такой маленькой и невесомой девочки, и эффект был такой, как если бы она заговорила басом.

Таис уже сползла со стульчика, снова по-детски задрав коротенькое платьице об угол подставки. Лицо её сияло. Зал застыл ещё на полсекунды, прощаясь с улетевшими звуками, и разразился аплодисментами.

Она поклонилась, как её учили, и пошла за кулисы, впрочем, не выдержала шагать, и остаток пути пробежала.

Нин, сидевшая, в кресле в первом ряду, обернулась к Нинэ, сидевшей за ней:

— Какая молодец! Ты посмотри, как великолепно отыграла! — с искренней улыбкой сказала она.

Нинэ отмахнулась, в глазах её стояли слёзы.

— Что ты машешь, — продолжала Нин, — я тебе серьёзно! Ну скажи, Нино, — обратилась она за поддержкой к матери Морфея.

— Да, да, — поспешно ответила та.

Нин снова развернулась к сцене. Игра Таис ей очень понравилась, и она искренне сказала об этом Нинэ. Но произведение-то простенькое, подумала она между тем.

Третьего исполнителя никто из дам не слушал. Нинэ ещё не отошла от услышанного. Нино — где была Нино? — она мысленно расставляла чашки и раскладывала гостинцы для чаепития.

А Нин шептала последнее наставление дочери. «Соберись, следи за руками, нужно сосредоточиться», — говорила она чуть быстрее обычного.

Имя Пруди уже прозвучало, и, выходя на сцену, она всё ещё слышала советы матери. На сцену вышла королева — собранная, подтянутая, спокойная. Только ручки, сжатые в кулачки, побелели. Поклонилась, села за инструмент, сыграла три ноты и замерла.

Зал молчал. Через секунду Пруди снова начала, но прервалась на том же месте. В горле появился предательский комок. Зал продолжал молчать. Все понимали: ребёнок переволновался.

— Всё хорошо, мы слушаем! — крикнул кто-то из зала.

Пруди вновь начала пьесу и снова оборвала. Около неё уже стояла Микаэла Натальевна, гладила по плечу и что-то шептала на ухо, потом отошла.

Пруди не могла пошевелить даже пальцем. Всё её тело сковал не страх — это был ужас. Слёз не было, ничего не было, как будто не своя. Она занесла руки над клавишами и сыграла всё те же три ноты. И продолжала сидеть.

Зал зашушукал, а Микаэла Натальевна уже почти бегом подошла к девочке и вывела её из-за инструмента за кулисы.

Нин потребовалось усилие, чтобы встать с кресла. Она зашла за кулисы, взяла дочь за руку, приобняла её и прошептала:

— Пойдём домой.

Она не ругалась, не кричала, не обвиняла, не читала нотаций. Она шла молча, крепко держа ребёнка за руку. «Боже, что с Пруди, — думала она, — сердце колотится в грудной клетке. Что с ребёнком, бедная моя девочка, как ей тяжело. Надо дать ей молока с мёдом и уложить в кровать. Пусть отдохнёт, это нервы».

Лицо Нин при этом оставалось каменным.

Пруди ничего не понимала и ничего не чувствовала. Она покорно шла с матерью, потом также покорно выпила молока, легла и мгновенно уснула крепким сном.

Концерт тем временем подходил к концу. Наступило оживление. Часть родителей уже ушли из зала готовить столы для чаепития. Часть детей позже вертелась с ними. Среди них Самсон, Морфей и Таис. Морфей помогал маме раскладывать угощения. Таис подошла к нему с неизменной улыбкой.

— Хорошо, — сказала она.

— Да, — ответила он деловито. — Я помогаю маме.

Таис потопталась, потопталась и отошла к Самсону.

— Как хорошо сейчас, — вновь сказала она уже Самсону.

— Что хорошо? — угрюмо ответил тот.

— Всё хорошо, — открыто сказала Таис, глубоко вдохнув, словно нюхая и дыша этим «хорошо».

— Не всё хорошо, — забубнил Самсон. — Между прочим, Пруди провалилась, и теперь будет сильно переживать.

— Да, — согласилась Таис. — Очень жалко Пруди. Но ведь вокруг всё равно так светло и хорошо...

Самсон посмотрел на неё с явным осуждением:

— Бессердечная ты и эгоистичная.

Таис задумалась:

— Почему? Мне же правда жалко Пруди.

— Так не жалеют, — сказал Самсон. — Когда жалеют, не бывает хорошо, и никто не радуется.

Он пробубнил это и вышел из комнаты.

Концерт закончился, дети и родители стали рассаживаться за столы. Таис ловко уместилась к Морфею.

— Ты рад, Морфей? — спросила Таис.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.